

ПАРАДОКС ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Восстание победило. Но кому оно передало вырванную у монархии власть? Мы переходим здесь к центральной проблеме февральского переворота: как и почему власть оказалась в руках либеральной буржуазии?

Начавшимся 23 февраля волнениям в думских кругах и буржуазном "обществе" значения не придавали. Либеральные депутаты и патриотические журналисты по-прежнему собирались в салонах, обсуждали вопрос о Триесте и Фиуме и снова подтверждали необходимость для России Дарданелл. Когда указ о роспуске Думы был уже подписан, думская комиссия все еще спешно обсуждала вопрос о передаче продовольственного дела городскому самоуправлению. Менее чем за 12 часов до восстания гвардейских батальонов Общество славянской взаимности мирно заслушивало годовой отчет. "Только когда я с этого собрания возвращался домой пешком, -- вспоминает один из депутатов, -- меня поразила какая-то жуткая тишина и пустота на обычно оживленных улицах". Жуткая пустота образовалась вокруг старых господствующих классов и уже щемила сердца их завтрашних преемников.

К 26-му серьезность движения стала ясна как правительству, так и либералам. В этот день ведутся между министрами и членами Думы переговоры о соглашении, над которыми либералы впоследствии так и не подняли покрывала. Протопопов в своих показаниях сообщал, что лидеры думского блока требовали по-прежнему назначения новых министров из лиц, пользующихся общественным доверием: "эта мера, может быть, успокоит народ". Но день 26-го создал, как мы знаем, известную заминку в развитии революции, и правительство на короткий момент почувствовало себя тверже. Когда Родзянко явился к Голицыну, чтобы убедить его выйти в отставку, премьер в ответ указал папку на столе, в которой лежал готовый указ о роспуске Думы, с подписью Николая, но без даты. Дату проставил Голицын. Как решилось правительство на такой шаг в момент возраставшего натиска революции? На этот счет у правящей бюрократии давно уже сложилась твердая концепция. "Будем ли мы с блоком или без него -- для рабочего движения это безразлично. С этим движением можно справиться другими средствами, и до сих пор министерство внутренних дел справлялось". Так говорил Горемыкин еще в августе 1915 года. С другой стороны, бюрократия считала, что Дума в случае роспуска не решится ни на какие смелые шаги. Опять-таки еще в августе 1915 года, при обсуждении вопроса о роспуске недовольной Думы, министр внутренних дел князь Щербатов говорил: "Вряд ли на прямое неподчинение думцы решатся. Все-таки огромное большинство их -- трусы и за свою шкуру дрожат". Князь выражался не очень изысканно, но в конце концов верно. В борьбе с либеральной оппозицией бюрократия чувствовала, таким образом, достаточно прочную почву под ногами.

27-го утром депутаты, встревоженные разрастающимися событиями, собирались на очередное заседание. Большинство только тут узнало, что Дума распущена. Это казалось тем более неожиданным, что еще накануне

велись мирные переговоры. "И тем не менее, -- пишет с гордостью Родзянко, -- Дума подчинилась закону, все же надеясь найти выход из запутанного положения, и никаких постановлений о том, чтобы не расходиться и насильно собираться в заседании, не делала". Депутаты собрались на частное совещание, на котором исповедовались друг другу в бессилии. Умеренный либерал Шидловский не без злорадства вспоминал позже предложение, сделанное крайним левым кадетом Некрасовым, будущим сподвижником Керенского: "Установить военную диктатуру, вручив всю власть популярному генералу". Тем временем отсутствовавшими на частном совещании Думы заправилами прогрессивного блока предпринята была практическая попытка спасения. Вызвав великого князя Михаила в Петербург, они предложили ему принять на себя диктатуру, "понудить" личный состав правительства подать в отставку и потребовать от царя по прямому проводу "даровать" ответственное министерство. В те часы, когда поднимались первые гвардейские полки, вожди либеральной буржуазии делали последнюю попытку подавить восстание при помощи династической диктатуры и в то же время войти за счет революции в соглашение с монархией. "Нерешительность великого князя, -- жалуется Родзянко, -- способствовала тому, что благоприятный момент был упущен".

Как легко радикальная интеллигенция верила тому, чего ей хотелось, свидетельствует беспартийный социалист Суханов, который начинает в этот период играть в Таврическом дворце известную политическую роль. "Мне сообщили основную политическую новость этих утренних часов незабвенного дня, -- рассказывает он в своих обширных воспоминаниях, -- указ о роспуске Государственной думы объявлен и Дума ответила на него отказом разойтись, избрав Временный комитет". Это пишет человек, почти не выходящий из Таврического дворца и державший там за пуговицы знакомых депутатов. В своей истории революции Милюков, вслед за Родзянко, категорически заявляет: "Там было вынесено, после ряда горячих речей, постановление не разъезжаться из Петрограда, а не постановление "не расходиться" Государственной думе как учреждению, как о том сложилась легенда". "Не расходиться" значило бы взять на себя хотя бы и запоздалую инициативу. "Не разъезжаться" означало умыть руки и выждать, в какую сторону повернет ход событий. Для доверчивости Суханова имеются, впрочем, смягчающие обстоятельства. Слух о том, что Дума приняла революционное постановление не подчиниться царскому указу, пустили впопыхах думские журналисты в своем информационном бюллетене, единственном тогда издании из-за всеобщей стачки. Так как восстание в течение дня победило, то депутаты отнюдь не спешили опровергать ошибку, поддерживая иллюзии своих левых друзей: к восстановлению истины они приступили только в эмиграции. Эпизод как будто второстепенный, но полный значения. Революционная роль Думы в день 27 февраля была полностью мифом, родившимся из политического легковерия радикальной интеллигенции, обрадованной и испуганной революцией, не верившей в

способность масс довести дело до конца и стремившейся как можно скорее прислониться к цензовой буржуазии.

В мемуарах депутатов, принадлежавших к думскому большинству, сохранился, к счастью, рассказ о том, как Дума встречала революцию. По рассказу князя Мансырева, одного из правых кадетов, среди депутатов, собравшихся утром 27-го в большом числе, не было ни членов президиума, ни лидеров партий, ни главарей прогрессивного блока: те уже знали о роспуске и о восстании и предпочитали как можно дольше не показывать головы; к тому же в эти именно часы они, по-видимому, вели переговоры с Михаилом о диктатуре. "В Думе царило общее смятение и растерянность, -- говорит Мансырев. -- Даже оживленные разговоры прекратились, а вместо них слышались вздохи и короткие реплики, вроде "дождались", или же откровенный страх за свою особу". Так повествует умереннейший депутат, вздохавший громче других. Уже во втором часу дня, когда вожди оказались вынуждены появиться в Думе, секретарь президиума принес радостную, но неосновательную весть: "Беспорядки будут скоро подавлены, потому что приняты меры". Возможно, что под мерами понимались переговоры о диктатуре. Но Дума угнетена и ждет разрешающего слова от вождя прогрессивного блока. "Мы уже потому не можем сейчас принимать никаких решений, -- заявляет Милюков, -- что размер беспорядков нам неизвестен так же, как неизвестно и то, на чьей стороне стоит большинство местных войск, рабочих и общественных организаций. Надобно собрать точные сведения обо всем этом и тогда уже обсуждать положение, а теперь еще рано". В два часа пополудни 27 февраля для либерализма все еще "рано"! "Собрать сведения" - значит умыть руки и выждать исхода борьбы. Но Милюков не кончил речи, которую он, впрочем, и начинал с тем, чтобы ничем не кончить, как в зал вбегает Керенский в сильном возбуждении; громадные толпы народа и солдат идут к Таврическому дворцу, провозглашает он, и намерены требовать от Думы, чтобы та взяла власть в свои руки!.. Радикальный депутат точно знает, чего требуют громадные толпы народа. На самом деле это сам Керенский впервые требует, чтобы власть взяла Дума, которая в душе все еще надеется на подавление восстания. Сообщение Керенского вызывает "общее недоумение и растерянные взгляды". Не успевает, однако, он кончить, как его прерывает вбегавший в перепуге думский служитель: передовые части солдат уже подошли к дворцу, их не пустил отряд караула у подъезда, начальник караула будто бы тяжело ранен. Еще через минуту оказывается, что солдаты уже вошли во дворец. Позже будут в речах и статьях говорить, что солдаты пришли приветствовать

Думу и присягать ей. Но сейчас все в смертельной панике. Вода подступает к горлу. Вожди шушукаются. Нужно выгадать отсрочку. Родзянко наспех вносит подсказанное ему предложение об образовании Временного комитета. Утвердительные крики. Но все хотят убраться поскорее, тут не до выборов. Испуганный не менее других председатель предлагает поручить создание Комитета Совету старейшин. Опять утвердительные крики немногих оставшихся в зале: большинство успело уже

исчезнуть. Такова была первая реакция распущенной царем Думы на победу восстания.

Тем временем революция создавала в том же здании, только в менее парадной его части, другой орган. Революционным руководителям не приходилось выдумывать его. Опыт советов 1905 года навсегда врезался в сознание рабочих. При каждом подъеме движения, даже во время войны, почти автоматически возрождалась идея советов. И хотя понимание роли советов было глубоко различным у большевиков и меньшевиков -- у эсеров вообще не было устойчивых оценок, -- самая форма организации стояла как бы вне споров. Освобожденные из тюрьмы меньшевики, члены военно-промышленного комитета, встретились в Таврическом дворце с деятелями профессионального и кооперативного движения того же правого крыла и с меньшевистскими депутатам Думы Чхеидзе и Скобелевым и тут же образовали Временный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов, который в течение дня пополнялся преимущественно бывшими революционерами, утратившими связь с массами, но сохранившими "имена". Исполнительный комитет, включивший в свой состав и большевиков, призвал рабочих немедленно выбирать депутатов. Первое заседание было назначено вечером в Таврическом дворце. Оно действительно состоялось в 9 часов и санкционировало состав Исполнительного комитета, пополнив его официальными представителями всех социалистических партий. Но совсем не в этом было значение первого собрания представителей победоносного пролетариата столицы. На заседании выступили с приветствиями делегаты восставших полков. В их числе были и совсем серые солдаты, как бы контуженные восстанием и еще туго ворочавшие языком. Но именно они находили слова, которых не найти никакому трибуну. Это была одна из самых патетических сцен революции, почувствовавшей свою силу, неисчислимость пробужденных масс, грандиозность задач, гордость своими успехами, радостное замирание сердца перед завтрашним днем, который должен быть еще прекраснее, чем сегодняшней. Революция еще не имеет своего ритуала, улица еще в дыму, массы еще не умеют по-новому петь, заседание течет без порядка, без берегов, как река в половодье. Совет захлебывается в собственном энтузиазме. Революция уже могуча, но еще наивна детской наивностью.

На этом первом заседании решено объединить гарнизон с рабочими в общем Совете рабочих и солдатских депутатов. Кто первый предложил это решение? Оно должно было явиться с разных, вернее, со всех сторон, как отголосок того братания рабочих и солдат, которое решило в этот день судьбу революции. Нельзя, однако, не отметить, что, по словам Шляпникова, социал-патриоты первоначально возражали против вовлечения армии в политику. С момента своего возникновения Совет в лице Исполнительного комитета начинает действовать как власть. Он избирает временную продовольственную комиссию и возлагает на нее заботу о восставших и о гарнизоне вообще. Он организует возле себя временный революционный штаб -- все называется временным в эти дни, -- о котором у нас уже шла речь

выше. Чтобы изъять из распоряжения чиновников старой власти финансовые средства, Совет постановляет немедленно же занять революционным караулом Государственный банк, казначейство, монетный двор и экспедицию по заготовлению государственных бумаг. "Задачи и функции Совета непрерывно растут под напором масс. Революция получает свой бесспорный центр. Рабочие, солдаты, а вскоре и крестьяне будут отныне обращаться только к Совету: в их глазах он становится средоточием всех надежд и всех властей, воплощением самой революции. Но и представители имущих классов будут искать у Совета, хоть и со скрежетом зубным, защиты, указаний, разрешения конфликтов.

Однако уже в эти первые часы победы, когда со сказочной быстротой и непреодолимой силой складывалась новая власть революции, те социалисты, которые оказались во главе Совета, с тревогой озирались вокруг себя в поисках настоящего "хозяина". Они считали само собою разумеющимся, что власть должна перейти к буржуазии. Здесь завязывается главный политический узел нового режима: одна из его нитей ведет в комнату Исполнительного комитета рабочих и солдат, другая -- в помещение центра буржуазных партий.

Совет старейшин в третьем часу дня, когда победа в столице определилась уже полностью, выбрал "Временный комитет членов Думы" из состава партий прогрессивного блока, с присоединением Чхеидзе и Керенского. Чхеидзе отказался, Керенский вилял. Название предусмотрительно указывало, что дело идет не об официальном органе Государственной думы, а о частном органе совещания членов Думы. Вожди прогрессивного блока до конца продумывали лишь один вопрос: как оградить себя от ответственности, не связывая себе рук. Задача комитета была определена с тщательной двусмысленностью: "восстановление порядка и сношение с учреждениями и лицами". Ни слова о том, какой порядок эти господа думают восстанавливать, ни о том, с какими учреждениями они собираются сноситься. Они не протягивали еще открыто руки к шкуре медведя: а что, если он не убит, а лишь тяжело ранен? Только в 11 часов вечера 27 февраля, когда, по признанию Милюкова, "выяснился весь размер революционного движения. Временный комитет решил сделать дальнейший шаг и взять в свои руки власть, выпадавшую из рук правительства". Незаметно из комитета членов Думы новый орган превратился в Комитет самой Думы: для сохранения государственно-правовой преемственности нет лучшего средства, как подлог. Но Милюков умалчивает о самом главном: вожди Исполнительного комитета, образовавшегося в течение дня, успели явиться во Временный комитет и настоятельно требовали от него взять в свои руки власть. Этот дружественный толчок возымел свое действие. Впоследствии Милюков объяснял решение думского комитета тем, что правительство готовилось будто бы направить на восставших верные войска "и на улицах столицы дело грозило дойти до настоящих сражений". На самом деле никаких войск у правительства уже не было, переворот был целиком позади. Родзянко впоследствии писал, что, в случае отказа от власти, "Дума

была бы арестована и перебита в полном составе бунтующими войсками и власть сразу очутилась бы у большевиков". Это, конечно, нелепое преувеличение, вполне в духе почтенного камергера; но оно безошибочно отражает самочувствие Думы, которая вручение ей власти воспринимала как акт политического изнасилования. При таких настроениях решение давалось нелегко. Особенно бурно колебался Родзянко, допрашивая других: "Что это будет, бунт или не бунт?" Депутат-монархист Шульгин ответил ему, по собственной передаче:

"Никакого в этом нет бунта. Берите как верноподданный... если министры сбежали, то должен же кто-то их заменить... Может быть два выхода: все обойдется -- государь назначит новое правительство, мы ему сдадим власть. А не обойдется, так если мы не подберем власть, то подберут другие, те, которые выбрали уже каких-то мерзавцев на заводах..." Не нужно придирается к площадным ругательствам реакционного джентльмена по адресу рабочих: революция крепко наступила этим господам на хвост. Мораль ясна: победит монархия -- будем с нею; победит революция -- постараемся ее обокрасть.

Совещание длилось долго. Демократические вожди в волнении дожидались решения. Наконец из кабинета Родзянко вышел Милюков. У него был торжественный вид. Подойдя к советской делегации, Милюков заявил: "Состоялось решение, мы берем власть..." "Я не спрашивал, кто это -- мы, -- восторженно вспоминает Суханов. -- Я ничего больше не спрашивал. Но я, как говорится, всем существом почувствовал новое положение. Я почувствовал, что корабль революции, бросаемый в эти часы шквалом по полному произволу стихий, поставил паруса, приобрел устойчивость, закономерность в движениях среди страшной бури и качки". Какая вычурная форма для прозаического признания рабской зависимости мелкобуржуазной демократии от капиталистического либерализма! И какая убийственная ошибка политической перспективы: передача власти либералам не только не придаст устойчивости государственному кораблю, наоборот, станет с этого дня источником безвластия революции, величайшего хаоса, ожесточения масс, крушения фронта, а в дальнейшем -- чрезвычайной ожесточенности гражданской войны.

* * *

Если глядеть только назад, на прошлые века, то факт перехода власти в руки буржуазии представится достаточно закономерным: во всех прошлых революциях на баррикадах дрались рабочие, подмастерья, отчасти студенты, на их сторону переходили солдаты, а власть прибирала затем к рукам солидная буржуазия, осторожно наблюдавшая баррикады через окно. Но Февральская революция 1917 года отличалась от прежних революций несравненно более высоким социальным характером и политическим уровнем революционного класса, враждебным недоверием восставших к либеральной буржуазии и возникновением в силу этого в самый момент победы нового органа революционной власти --- Совета, опирающегося на

вооруженную силу масс. При этих условиях переход власти в руки изолированной и безоружной буржуазии требует объяснения.

Прежде всего надо ближе присмотреться к тому соотношению сил, которое сложилось в результате переворота. Не была ли советская демократия вынуждена объективной обстановкой отказаться от власти в пользу крупной буржуазии? Сама буржуазия не думала этого. Мы уже знаем, что она не только не ожидала от революции власти, но, наоборот, предвидела в ней смертельную опасность всему своему социальному положению. "Умеренные партии не только не желали революции, -- пишет Родзянко, -- но просто боялись ее. В частности, партия народной свободы ("кадеты") как стоящая на левом фланге умеренных групп и поэтому имевшая больше всех точек соприкосновения с революционными партиями страны была озабочена надвигающейся катастрофой больше всех". Опыт 1905 года слишком внушительно говорил либералам, что победа рабочих и крестьян может оказаться не менее опасной для буржуазии, чем для монархии. Казалось бы, ход февральского восстания только подтверждал это предвидение. Как ни бесформенны были во многих отношениях политические идеи революционных масс в те дни, линия водораздела между трудящимися и буржуазией была, во всяком случае, проведена непримиримо.

Близкий к либеральным кругам приват-доцент Станкевич, друг, а не враг прогрессивного блока, следующими чертами характеризует настроение либеральных кругов на второй день после переворота, которого им не удалось предотвратить: "Официально торжествовали, славословили революцию, кричали "ура" борцам за свободу, украшали себя красными бантами и ходили под красными знаменами... Но в душе, в разговорах наедине -- ужасались, содрогались и чувствовали себя плененными враждебной стихией, идущей каким-то неведомым путем. Никогда не забудется фигура Родзянко, этого грузного барина и знатной персоны, когда, сохраняя величавое достоинство, но с застывшим на бледном лице выражением глубокого страдания и отчаяния, он проходил через толпы распоясанных солдат по коридорам Таврического дворца. Официально значилось: "солдаты пришли поддержать Думу в ее борьбе с правительством", а фактически Дума оказалась упраздненной с первых же дней. И то же выражение было на лицах всех членов Временного комитета Думы и тех кругов, которые стояли около них. Говорят, представители прогрессивного блока плакали по домам в истерике от бессильного отчаяния". Это живое свидетельство ценнее всяких социологических изысканий насчет соотношения сил. По собственному рассказу, Родзянко содрогался от бессильного возмущения при виде того, как неизвестные солдаты, "неизвестно по чьему распоряжению" производили аресты сановников старого режима и приводили их в Думу. Камергер оказывался чем-то вроде начальника тюрьмы по отношению к людям, с которыми у него, конечно, были расхождения, но которые все же оставались для него людьми своего круга. Пораженный "произволом", Родзянко пригласил арестованного Щегловитова к себе в кабинет, но солдаты наотрез отказались выдать ему

ненавистного сановника. "Когда я попробовал проявить свой авторитет, -- рассказывает Родзянко, -- солдаты сомкнулись вокруг своего пленника и с самым вызывающим, дерзким видом показали мне на свои винтовки, после чего, без всяких обиняков, Щегловитов был уведен неизвестно куда". Можно ли ярче подтвердить слова Станкевича о том, что полки, якобы пришедшие поддержать Думу, на самом деле упразднили ее?

Что власть была с первого часа в руках Совета, на этот счет думцы могли позволять себе меньше иллюзий, чем кто-либо иной. Депутат-октябрист Шидловский, один из руководителей прогрессивного блока, вспоминает: "Были захвачены Советом все почтовые и телеграфные учреждения, все петроградские станции железных дорог, все типографии, так что без его разрешения нельзя было ни послать телеграмму, ни выехать из Петрограда, ни напечатать воззвания". В эту недвусмысленную характеристику соотношения сил нужно только внести одно уточнение: "захват" Советом телеграфа, железных дорог, типографий и пр. означает лишь, что рабочие и служащие этих предприятий не хотели подчиняться никому, кроме Совета.

Жалоба Шидловского как нельзя лучше иллюстрируется эпизодом, происшедшим в самый разгар переговоров о власти между вождями Совета и Думы. Их совместное заседание было прервано срочным сообщением, что из Пскова, где находился царь после своих блужданий по железнодорожным путям, вызывают Родзянко к прямому проводу. Всемогущий председатель Думы заявил, что один на телеграф не поедет. "Пусть господа рабочие и солдатские депутаты дадут мне охрану или поедут со мной, а то меня арестуют, там на телеграфе. Что ж! У вас сила и власть, -- возбужденно продолжал он. -- Вы, конечно, можете меня арестовать... Может быть, вы всех нас арестуете, мы не знаем!.." Это происходило 1 марта, менее чем через двое суток после того, как власть была "взята" Временным комитетом, во главе которого стоял Родзянко.

Как же все-таки при таком положении либералы оказались у власти? Кто и как уполномочил их образовать правительство в результате революции, которой они страшились, которой они противодействовали, которую они пытались подавить, которая была совершена враждебными им массами, притом с такой решительностью и смелостью, что Совет рабочих и солдат, вышедший из восстания, явился естественным и представлялся всем неоспоримым хозяином положения?

Послушаем теперь другую сторону, ту, которая сдавала власть. "Народ не тяготел к Государственной думе,

-- пишет Суханов о февральских днях, -- не интересовался ею и не думал -- ни политически, ни технически

-- делать ее центром движения". Это признание тем более замечательно, что автор его приложит в ближайшие часы все силы для передачи власти комитету Государственной думы. "Милюков отлично понимал, -- говорит далее Суханов по поводу переговоров 1 марта, -- что в полной власти Исполнительного комитета дать власть цензовому

правительству или не дать ее". Можно ли выразиться категоричнее? Может ли политическая обстановка быть яснее? И тем не менее Суханов, в полном противоречии с обстановкой и с самим собою, тут же заявляет: "Власть, идущая на смену царизма, должна быть только буржуазной... На такое решение необходимо держать курс. Иначе переворот не удастся и революция погибнет". Революция погибнет без Родзянко!

Проблема живого соотношения социальных сил подменена здесь априорной схемой и условной терминологией: такова самая суть интеллигентского доктринерства. Но мы увидим дальше, что это доктринерство отнюдь не было платоническим: оно выполняло вполне реальную политическую функцию, хоть и с завязанными глазами.

Мы не случайно цитировали Суханова. В этот первый период вдохновителем Исполнительного комитета был не председатель его, Чхеидзе, честный и ограниченный провинциал, но именно Суханов, наименее, вообще говоря, приспособленный для революционного руководства. Полународник-полумарксист, больше добросовестный наблюдатель, чем политик, больше журналист, чем революционер, больше резонер, чем журналист, он был способен держаться революционной концепции лишь до тех пор, пока не нужно было претворять ее в дело. Пассивный интернационалист во время войны, он с первого дня революции решил, что нужно как можно скорее и власть и войну подкинуть буржуазии. Теоретически, т. е. по крайней мере по потребности, если не по способности, связывать концы с концами, он был выше наличных тогда членов Исполнительного комитета. Но главную его силу составляло все же то, что он переводил на язык доктринерства органические черты этой разношерстной и все же однородной братии: неверие в свои силы, страх перед массой и высокомерно-почтительное отношение к буржуазии. Ленин назвал Суханова одним из лучших представителей мелкой буржуазии. И это самое лестное, что можно сказать о нем.

Не нужно только забывать при этом, что дело идет прежде всего о мелкой буржуазии нового, капиталистического типа, о промышленных, торговых и банковских служащих, о чиновниках капитала, с одной стороны, рабочей бюрократии -- с другой, т. е. о том *новом среднем сословии*, во имя которого небезызвестный немецкий социал-демократ Эдуард Бернштейн предпринял в конце прошлого века ревизию революционной концепции Маркса. Чтобы ответить на вопрос о том, как революция рабочих и крестьян сдала власть буржуазии, надо ввести в политическую цепь промежуточное звено: мелкобуржуазных демократов и социалистов типа Суханова, журналистов и политиков нового среднего сословия, которые учили массы, что буржуазия есть враг, а сами больше всего боялись выпустить массы из-под команды этого врага. Противоречие между характером революции и характером вышедшей из нее власти объясняется противоречивым характером нового мелкобуржуазного средостения между революционными массами и капиталистической буржуазией. В ходе дальнейших событий

революции политическая роль мелкобуржуазной демократии нового типа раскроется перед нами до конца. Пока ограничимся немногими словами.

В восстании участвует непосредственно меньшинство революционного класса, причем силу этого меньшинства составляет поддержка его или, по крайней мере, сочувствие к нему со стороны большинства. Активное и боевое меньшинство под огнем врага неизбежно выдвигает вперед наиболее революционные и самоотверженные свои элементы. Естественно, если в февральских боях на первом месте стояли рабочие-большевики. Но положение становится иным с момента победы, когда начинается ее политическое закрепление. К выборам в органы и учреждения победоносной революции призываются и притекают неизмеримо более широкие массы, чем те, которые сражались с оружием в руках. Это относится не только к общедемократическим органам, как городские думы и земства или позже -- Учредительное собрание, но и к классовым, как советы рабочих депутатов. Подавляющее большинство рабочих, меньшевиков, эсеров и беспартийных поддерживало большевиков в момент непосредственной схватки с царизмом. Но лишь маленькое меньшинство рабочих понимало, чем большевики отличаются от других социалистических партий. В то же время все рабочие проводили резкую грань между собою и буржуазией. Этим определилось политическое положение после победы. Рабочие выбирали социалистов, т. е. тех, кто не только против монархии, но и против буржуазии. Они почти не делали при этом различия между тремя социалистическими партиями. А так как меньшевики и эсеры обладали неизмеримо большими кадрами интеллигенции, притекавшей к ним со всех сторон, и получили таким образом сразу в свои руки огромный штат агитаторов, то выборы, даже от фабрик и заводов, давали огромный перевес меньшевикам и эсерам.

В ту же сторону, но еще с неизмеримо большей силой давила пробудившаяся армия. На пятый день восстания петроградский гарнизон пошел за рабочими. После победы он оказался призван к выборам в советы. Солдаты доверчиво выбирали тех, кто был за революцию, против монархического офицерства и кто умел об этом сказать вслух; это оказались вольноопределяющиеся, писари, фельдшера, молодые офицеры военного времени из интеллигенции, мелкие военные чиновники, т. е. низший слой того же "нового среднего сословия". Все они почти поголовно записывались, начиная с марта, в партию эсеров, которая своей идейной бесформенностью как нельзя лучше отвечала их промежуточному социальному положению и их политической ограниченности. Представительство гарнизона оказалось, таким образом, несравненно умереннее и буржуазное, чем солдатские массы. Но последние этого различия не сознавали: оно должно было еще только обнаружиться на опыте ближайших месяцев. Рабочие со своей стороны стремились примыкать как можно теснее к солдатам, чтобы закрепить завоеванный кровью союз и прочнее вооружить революцию. А так как от лица армии говорили преимущественно новоиспеченные эсеры, то это не могло не повышать авторитет этой партии наряду с ее союзниками, меньшевиками, в глазах самих рабочих. Так сложилось преобладание в

советах двух соглашательских партий. Достаточно сказать, что даже в Совете Выборгского района руководящая роль в первое время принадлежала рабочим-меньшевикам. Большевизм в тот период еще только глухо клочкотал в глубоких недрах революции. Официальные же большевики, даже в Петроградском Совете, представляли ничтожное меньшинство, которое к тому же не очень ясно определяло свои задачи.

Так сложился парадокс Февральской революции. Власть -- в руках демократических социалистов. Она отнюдь не захвачена ими случайно, путем бланкистского удара; нет, она им вручена открыто победоносными массами народа. Эти массы не только отказывают буржуазии в доверии и поддержке, но и не отделяют ее от дворянства и бюрократии. Свое оружие они предоставляют только в распоряжение советов. Между тем единственной заботой социалистов, столь легко возглавивших советы, является вопрос: согласится ли политически изолированная, ненавидимая массами и насквозь враждебная революции буржуазия принять власть из их рук? Ее согласия нужно добиться во что бы то ни стало, а так как очевидно, что буржуазия не может отказаться от буржуазной программы, то мы, "социалисты", должны отречься от нашей программы: промолчать о монархии, о войне, о земле, только бы буржуазия приняла дар власти. Совершая эту операцию, "социалисты", как бы в насмешку над собою, продолжают именовать буржуазию не иначе как классовым врагом. В обрядовых формах богослужения совершается, таким образом, акт вызывающего кощунства. Классовая борьба, доведенная до конца, есть борьба за государственную власть. Основное свойство революции в том, что она доводит классовую борьбу до конца. Революция и есть непосредственная борьба за власть. Между тем наши "социалисты" озабочены не тем, чтобы отнять власть у так называемого классового врага, который ее не имеет и собственными силами взять не может, а, наоборот, тем, чтобы вручить ему власть во что бы то ни стало. Разве же это не парадокс? Он казался тем более поразительным, что опыта немецкой революции 1918 года тогда еще не существовало и человечество не было еще свидетелем грандиозной и гораздо более успешной операции того же типа, совершенной "новым средним сословием", руководящим германской социал-демократией.

Как объясняли свое поведение соглашатели? Один довод имел доктринерский характер: так как революция буржуазная, то социалисты не должны компрометировать себя властью -- пусть буржуазия сама отвечает за себя. Это звучало очень непримиримо. В действительности же мнимой непримиримостью мелкая буржуазия маскировала свое раболепие перед силой богатства, образования, ценза. Право крупной буржуазии на власть мелкие буржуа признавали ее первородным правом, независимым от соотношения сил. В основе здесь было то же почти инстинктивное движение, которое заставляет мелкого купца или учителя почтительно посторониться на вокзале или в театре, чтобы дать пройти Ротшильду. Доктринерские аргументы служили только компенсацией за сознание собственного ничтожества. Уже через два месяца, когда выяснилось, что буржуазия

собственными силами никак не удержит уступленной ей власти, соглашатели без труда отбросили свои "социалистические" предубеждения и вошли в коалиционное министерство. Не для того, чтобы вытеснить оттуда буржуазию, наоборот, чтобы спасти ее. Не вопреки ее воле, а, наоборот, по ее предложению, которое звучало как приказание: буржуазия угрожала демократам обрушить в противном случае власть им на голову.

Второй довод в пользу отказа от власти имел более практическую видимость, не будучи более серьезным по существу. Уже знакомый нам Суханов выдвигал на первый план "распыленность" демократической России:

"...в руках демократии тогда не было сколько-нибудь прочных и влиятельных организаций ни партийных, ни профессиональных, ни муниципальных". Это звучит как насмешка! О советах рабочих и солдатских депутатов не говорит тут ни слова социалист, выступающий от имени советов. Между тем, благодаря традиции 1905 года, советы возникли как из-под земли и сразу стали несравненно могущественнее, чем все другие организации, которые пытались позже соперничать с ними (муниципалитеты, кооперативы, отчасти профессиональные союзы). Что касается крестьянства, класса, распыленного по самой своей природе, то как раз благодаря войне и революции оно оказалось организовано, как никогда: война собрала крестьян в армию, а революция придала армии политический характер! Не меньше восьми миллионов крестьян были объединены в роты и эскадроны, которые сейчас же создали свое революционное представительство и через его посредство в любой момент могли быть поставлены на ноги по телефонному звонку. Это ли похоже на "распыленность"?

Можно, правда, сказать, что в момент решения вопроса о власти демократия не знала еще, как будет себя держать фронтовая армия. Не будем поднимать вопрос о том, было ли хоть малейшее основание опасаться или надеяться, что истомленные войною фронтовики захотят поддержать империалистическую буржуазию. Достаточно того, что весь этот вопрос полностью разрешился в течение ближайших двух-трех дней, которые у соглашателей и ушли как раз на подготовку за кулисами буржуазного правительства. "Переворот был благополучно завершён к 3 марта", -- признает Суханов. Несмотря на присоединение всей армии к советам, вожди последних изо всей силы отталкивали власть: они тем больше боялись ее, чем полнее она сосредоточивалась в их руках.

Но почему же? Каким образом демократы, "социалисты", непосредственно опиравшиеся на такие человеческие массы, каких не знала за собой никакая демократия в истории, притом на массы со значительным опытом, дисциплинированные и вооруженные, организованные в советы, каким образом эта могущественная, несокрушимая, казалось бы, демократия могла бояться власти? Эта замысловатая на вид загадка объясняется тем, что демократия не доверяла своей собственной опоре, боялась самой массы, не верила в прочность ее доверия к себе и пуще всего страшилась "анархии", т. е. того, что, взяв власть, она вместе с властью окажется игрушкой так

называемых разнузданных стихий. Другими словами, демократия чувствовала себя не призванной руководительницей народа в момент его революционного подъема, а левым крылом буржуазного порядка, его щупальцем, протянутым в массы. Социалистической она называла и даже считала себя, чтобы замаскировать не только от масс, но и от самой себя свою действительную роль: без такого самоопьянения она не могла бы выполнить ее. Так разрешается основной парадокс Февральской революции.

Вечером 1 марта в заседание Комитета Думы явились представители Исполнительного комитета: Чхеидзе, Стеклов, Суханов и другие, чтобы обсудить условия поддержки нового правительства советами. Программа демократов начисто снимала вопросы о войне, республике, земле, восьмичасовом рабочем дне и сводилась к одному-единственному требованию: дать левым партиям свободу агитации. Пример бескорыстия для народов и веков:

социалисты, у которых в руках находилась вся власть и от которых полностью зависело, давать или не давать свободу агитации другим, передавали власть своим "классовым врагам" с условием, чтобы эти последние пообещали им... свободу агитации. Родзянко боялся идти на телеграф и говорил Чхеидзе и Суханову: "Власть у вас, вы можете нас всех арестовать". Чхеидзе и Суханов отвечали ему: "Возьмите власть, но только не арестовывайте нас за пропаганду". Когда изучаешь переговоры соглашателей с либералами и все вообще эпизоды взаимоотношений левого и правого крыла Таврического дворца в те дни, то кажется, что на гигантской сцене, на которой разворачивается историческая драма народа, группа провинциальных актеров, воспользовавшись свободным уголком и паузой, разыгрывает пошлый водевиль с переодеванием.

Вожди буржуазии, надо отдать им справедливость, не ожидали ничего подобного. Пожалуй, они меньше боялись бы революции, если бы рассчитывали на такого рода политику со стороны ее вождей. Правда, они просчитались бы и в этом случае, но уже вместе с последними. Опасаясь все-таки, что буржуазия не согласится взять власть и на предложенных условиях, Суханов ставит грозный ультиматум: "Стихию можем сдержать или мы, или никто... Выход один: согласиться на наши условия". Другими словами: примите программу, которая есть ваша программа; за это мы обещаем вам укротить массу, которая дала нам власть. Бедные укротители стихий!

Милюков был удивлен. "Он и не думал скрывать, -- вспоминает Суханов, -- свое удовлетворение и свое приятное удивление". Когда же советские делегаты для пущей важности прибавили, что их условия "окончательны", Милюков даже расчувствовался и поощрил их фразой: "Да, я слушал вас и думал о том, как далеко вперед шагнуло наше рабочее движение со времени 1905 года..." Таким тоном благодушного крокодила гогенцоллернская дипломатия разговаривала в Брест-Литовске с делегатами украинской Рады, воздавая должное их государственной зрелости, прежде чем проглотить их. Если советская демократия не была проглочена буржуазией, то в этом не заслуга Суханова и не вина Милюкова.

Буржуазия получила власть за спиной народа. Она не имела в трудящихся классах никакой опоры. Но вместе с властью она получила подобие опоры из вторых рук: меньшевики и эсеры, поднятые массой наверх, вручили уже от себя мандат доверия буржуазии. Если взглянуть на эту операцию в разрезе формальной демократии, то получится картина двухступенных выборов, в которых меньшевики и эсеры выступают в технической роли среднего звена, т. е. кадетских выборщиков. Если взять вопрос политически, то придется сказать, что соглашатели обманули доверие масс, призвав к власти тех, против кого сами были избраны. Наконец, с более глубокой, социальной точки зрения вопрос представится так: мелкобуржуазные партии, проявлявшие в будничных условиях чрезвычайную претенциозность и довольство собою, как только оказались подняты революцией на высоты власти, испугались собственной несостоятельности и поторопились передать руль представителям капитала. В этом акте протрации сразу обнаружилась ужасающая шаткость нового среднего сословия и его унижительная зависимость от крупной буржуазии. Сознывая или только чувствуя, что власть в их руках все равно долго удержаться не сможет, что придется вскоре сдавать ее направо или налево, демократы решили, что лучше сдать ее сегодня солидным либералам, чем завтра -- крайним представителям пролетариата. Но и в таком освещении роль соглашателей, несмотря на свою социальную обусловленность, не перестает быть вероломной по отношению к массам.

Отдав свое доверие социалистам, рабочие и солдаты оказывались, неожиданно для себя, политически экспропрированными. Они недоумевали, тревожились, но не находили сразу выхода. Их собственные избранники оглушали их сверху аргументами, на которые они не имели готового ответа, но которые противоречили всем их чувствам и намерениям. Революционные тенденции масс уже в момент февральского переворота совершенно не совпадали с соглашательскими тенденциями мелкобуржуазных партий. Пролетарий и крестьянин голосовали за меньшевика и эсера не как за соглашателей, а как за противников царя, помещика и капиталиста. Но, голосуя за них, они создали средостение между собой и своими целями. Они не могли теперь уже продвинуться вперед, не натолкнувшись на воздвигнутое ими же средостение и не опрокинув его. Таково было поразительное *qui pro quo* (лат. -- недоразумение. -- *Ред.*), заложенное в классовых отношениях, как их вскрыла Февральская революция.

К основному парадоксу немедленно же присоединился дополнительный. Либералы соглашались взять власть из рук социалистов лишь при условии, что монархия согласится принять власть из их собственных рук.

В то время как Гучков с уже знакомым нам монархистом Шульгиным ездили в Псков для спасения династии, проблема конституционной монархии оказалась в центре переговоров между двумя комитетами Таврического дворца. Милюков убеждал демократов, принесших ему на ладони власть, что Романовы теперь уже не могут быть опасны, что Николай, конечно, должен

быть устранен, но зато царевич Алексей при регенте Михаиле вполне могли бы обеспечить благополучие страны: "один -- больной ребенок, а другой -- совсем глупый человек". Прибавим еще характеристику, какую дал кандидату в цари либеральный монархист Шидловский: "Михаил Александрович всемерно уклонялся от вмешательства в какие бы то ни было дела государственные, всецело предавшись конскому спорту". Поразительная рекомендация, особенно если ее повторить перед массами. После бегства Людовика XVI в Варенн Дантон провозгласил в якобинском клубе, что, раз человек слабоумен, он не может быть королем. Русские либералы считали, наоборот, что слабоумие монарха служит лучшим украшением конституционного режима. Впрочем, это был непринужденный аргумент, рассчитанный на психологию левых простаков, но слишком все же грубый и для них. Широким кругам либеральных обывателей внушалось, что Михаил - "англоман", без уточнения, идет ли речь о скачках или о парламентаризме. А главное, необходим "привычный символ власти", иначе народ вообразит, что пришло безвластие.

Демократы слушали, вежливо удивлялись и уговаривали... провозгласить республику? Нет, только не предрешать вопроса. Пункт третий условий Исполнительного комитета гласил: "Временное Правительство не должно предпринимать никаких шагов, предрешающих будущую форму правления". Милюков сделал из вопроса о монархии ультиматум. Демократы были в отчаянии. Но тут на помощь пришли массы. На митингах Таврического дворца решительно никто, не только рабочие, но и солдаты, не хотел царя и не было никаких средств навязать его. Тем не менее Милюков пытался плыть против течения и спасти трон и династию через головы левых союзников. В своей "Истории революции" он сам осторожно отмечает, что к концу 2 марта волнение, вызванное его сообщением о регентстве Михаила, "значительно усилилось". Родзянко гораздо красочнее рисует эффект, который монархические маневры либералов вызывали в массах. Едва прибыв из Пскова с актом отречения Николая в пользу Михаила, Гучков, по требованию рабочих, отправился с вокзала в железнодорожные мастерские, изложил, что произошло, и, огласив акт отречения, закончил: "Да здравствует император Михаил!" Результат получился неожиданный. Оратор был, по рассказу Родзянко, немедленно рабочими арестован, будто бы даже с угрозами расстрела. "С большим трудом удалось освободить его при помощи дежурной роты ближайшего полка". Родзянко, как всегда, кое в чем преувеличивает, но основное изложено им правильно. Страну так радикально вырвало монархией, что она никак не могла снова пролезть народу в глотку. Революционные массы не допускали и мысли о новом царе!

Пред лицом такой конъюнктуры члены Временного комитета один за другим отодвигались от Михаила -- не окончательно, а "до Учредительного собрания": там видно будет. Только Милюков и Гучков стояли за монархию до конца и по-прежнему ставили в зависимость от этого свое участие в кабинете. Как быть? Демократы считали, что без Милюкова нельзя составить

буржуазное правительство, а без буржуазного правительства нельзя спасти революцию. Пререкания и уговаривания шли без конца. В утреннем совещании 3 марта мнение о необходимости "убедить великого князя отречься", -- его, следовательно, считали царем! -- как будто совсем победило во Временном комитете. Левый кадет Некрасов успел составить и проект отречения. Но так как Милюков упорно не сдавался, то после новых страстных споров было наконец найдено решение: "обе стороны мотивируют перед великим князем свои мнения и, не входя в дальнейшие прения, предоставят решение самому великому князю". Таким образом, "совсем глупый человек", которому низложенный восстанием старший брат, в противоречии даже с династическим статутом, пытался подкинуть трон, оказался неожиданно суперарбитром в вопросе о государственном устройстве революционной страны. Как это ни невероятно, но состязательный процесс о судьбах государства состоялся. Чтобы побудить великого князя оторваться от конюшен для трона, Милюков заверил его, что имеется полная возможность вне Петрограда собрать военную силу для защиты его прав. Другими словами, едва успев получить власть из рук социалистов, Милюков выдвинул план монархического coup d'etat. По окончании речей "за" и "против", которых было немало, великий князь попросил время на размышление. Пригласив к себе в другую комнату Родзянко, Михаил спросил его в упор: гарантируют ли ему новые властители только корону или также и голову? Несравненный камергер ответил, что может лишь обещать монарху умереть в случае нужды с ним вместе. Это претендента совершенно не устраивало. Выйдя после объятий с Родзянко к ожидавшим его депутатам, Михаил Романов "довольно твердо" заявил, что отказывается от предложенной ему высокой, но рискованной должности. Тогда Керенский, олицетворявший в этих переговорах совесть демократии, восторженно привскочил со стула со словами: "Ваше Высочество, Вы -- благородный человек!" -- и поклялся, что отныне будет всюду заявлять это. "Пафос Керенского, -- сухо комментирует Милюков, -- плохо гармонировал с прозой принятого решения". Нельзя не согласиться. Для пафоса текст этой интермедии действительно не оставлял места. Сделанное выше сравнение с водевилем в углу античной арены приходится дополнить указанием на то, что сцена оказалась разделена ширмами на две половины: в одной революционеры упрашивали либералов спасти революцию, в другой либералы умоляли монархию спасти либерализм.

Представители Исполнительного комитета искренно недоумевали, почему такой просвещенный и дальновидный человек, как Милюков, упрямится из-за какой-то там монархии и даже готов отказаться от власти, если ему, в придачу к ней, не дадут Романова. Монархизм Милюкова не был, однако, ни доктринерским, ни романтическим; наоборот, он вытекал из обнаженного расчета перепуганных собственников. В его обнаженности и состояла его безнадежная слабость. Историк Милюкова мог, правда, сослаться на то, что вождь французской революционной буржуазии Мирабо также стремился в свое время примирить революцию с королем. В основе и

там был страх собственников за собственность: осторожнее было прикрыть ее монархией, как монархия прикрывала себя церковью. Но в 1789 году традиция королевской власти во Франции имела еще всенародное признание, не говоря о том, что вся окружающая Европа была монархической. Держась за короля, французская буржуазия оставалась еще на общей почве с народом, по крайней мере в том смысле, что пользовалась против него его же предрассудками. Совсем иным было положение в России в 1917 году. Помимо крушений и аварий монархического режима в разных странах мира сама русская монархия была непоправимо надломлена уже в 1905 году. После 9 января поп Гапон проклял царя и его "змеиное отродье". Совет рабочих депутатов 1905 года стоял открыто на почве республики. Монархические чувства крестьянства, на которые сама монархия долго рассчитывала и ссылкой на которые буржуазия прикрывала свой монархизм, оказались попросту несуществующими. Поднимавшаяся в дальнейшем воинственная контрреволюция, начиная с Корнилова, хоть и лицемерно, но тем более демонстративно отрекалась от царской власти: так мало оставалось монархических корней в народе. Но та же революция 1905 года, которая смертельно ранила монархию, навсегда подорвала неустойчивые республиканские тенденции "передовой" буржуазии. Противоречия друг другу, эти два процесса дополняли друг друга. Чувствуя себя с первых часов Февральской революции утопающей, буржуазия хваталась за соломинку. Монархия ей нужна была не потому, что это было ее общее верование с народом;

наоборот, буржуазия не могла уже ничего противопоставить верованиям народа, кроме коронованного фантома. "Образованные" классы России выступили на арене революции не как глашатаи рационального государства, а как защитники средневековых учреждений. Не имея опоры ни в народе, ни в себе самих, они искали ее над собою. Архимед брался перевернуть землю, если ему дадут точку опоры. Милюков, наоборот, искал точку опоры, чтобы охранить помещичью землю от переворота. Он чувствовал себя при этом гораздо ближе с наиболее заскорузлыми царскими генералами и иерархами православной церкви, чем с теми ручными демократами, которые ни о чем так не заботились, как о благорасположении либералов. Не будучи в силах сломить революцию, Милюков твердо решил перехитрить ее. Он готов был проглотить многое: гражданские свободы для солдат, демократические муниципалитеты. Учредительное собрание, но при одном условии: чтобы ему была предоставлена архимедова точка в виде монархии. Он рассчитывал постепенно и шаг за шагом сделать монархию осью группировки генералитета, подновленной бюрократии, князей церкви, собственников, всех недовольных революцией и, начав с "символа", создавать постепенно реальную монархическую узду на массы, по мере того как последние будут уставать от революции. Только бы выиграть время! Другой руководитель кадетской партии, Набоков, объяснил позже, какое капитальное преимущество было бы достигнуто при согласии Михаила на трон: "Устранен был бы роковой вопрос о созыве Учредительного собрания

во время войны". Эти слова надо запомнить: борьба из-за сроков Учредительного собрания занимала между февралем и октябрём большое место, причём кадеты категорически отрицали свое намерение оттянуть созыв народного представительства, очень настойчиво и упорно проводя политику проволочек на деле. Увы, им приходилось при этом опираться только на себя: монархического прикрытия они так-таки и не получили. После дезертирства Михаила Милюков не мог уже хвататься и за соломинку.